

Tales of War: Childhood Memories of Elderly People*

Tatyana P. Hlynina

Institute of Socio-Economic and Humanities Research Southern Scientific Center RAS, Russian Federation
344006, Rostov-on-Don, Chekhov Pr., 41
Doctor of Historical Sciences
E-mail: tatiana_xl@mail.ru

Abstract. This article is devoted to childhood memories of the war as recorded in the 2000s. It considers peculiarities of children's memory, and mechanisms for actualization of memories of various events of wartime. It is noted that the memory of the war still remains one of the few sources for the national pride of the modern Russian society. At the same time, rehabilitation of multiple private memories results in erosion of the official version and calls persistently for their reconciliation. Meanwhile memory is no longer viewed by the researcher as a "passive storage of recorded information" but is connected with figural reconstruction of images from the past. Despite a number of peculiarities in children's memories, they are going to become the touchstone to clear up the peculiarities of forming the memory of the Great Patriotic War, its dynamics and present-day condition.

Keywords: the Great Patriotic War; "children of the war"; memory; childhood memories; respondents; participant; eyewitness; contemporary; heir; Victory.

Введение. Великая Отечественная война принадлежит к тем трагическим страницам нашего прошлого, интерес к которым не ослабевает без малого вот уже семь десятилетий. И дело не только в масштабе вызванных ее разрушений, безвозвратных потерях и геополитической конфигурации послевоенного устройства мира. Память о войне остается, пожалуй, одним из немногих источников национальной гордости, в пространстве которой оправдываются не только тяготы восстановительного периода, но и последующего развития нашей страны. Хорошо известная не одному поколению советских людей притча «лишь бы не было войны», ставшая со временем квинтэссенцией непритязательности жизни советского, да и частично российского общества, в эпоху массового потребления утрачивает свою регулятивную функцию. Вместе с ней постепенно утрачивается и прежняя незыблемость социальной значимости наследия победы, вынуждая государство к активному вмешательству в формирование «достойной памяти» о жертвенном подвиге и беспримерном героизме советского народа.

Однако в ситуации реабилитации другой памяти, носители которой помнят не только вынужденные тяготы того времени, но и растерянность власти перед внезапностью оккупации противника; немцев, «державших порядок и спасавших от голода советских детей»; партизан, «лютовавших хуже фашистов», ее официальной версии становится все труднее уживаться с новым знанием о войне. Знанием, в пространстве которого коллективный опыт совладения с жизненными трудностями уступает место индивидуальным траекториям их преодоления, а личностное ощущение пережитого оказывается индикатором «ни с чем не соизмеримой» цены победы. Профессиональная востребованность индивидуальной памяти, во многом объясняющаяся настойчивым стремлением сообщества историков ответить на, казалось бы, прозрачные вопросы о том, как жили советские люди в годы Великой Отечественной войны, наталкивается на сопротивление все той же памяти. Памяти, которая, по единодушному признанию специалистов, больше не видится «пассивным "хранилищем" запечатленной информации» [1, с. 181] и все чаще связывается с пластичным конструированием образов прошлого [2].

Методы и материалы. Между тем, расширение привычно используемого корпуса источников по истории Великой Отечественной войны, прежде всего, за счет свидетельств рядовых участников и очевидцев, меняет не только тональность ее метанарратива, но и настройки исследовательского инструментария, позволяющего пристальнее вслушаться в голоса еще помнящих ее людей. На сегодняшний день таковыми, как правило, оказываются «дети войны». К этой категории законодатель относит всех родившихся с 1928–1929 гг. по 9 мая 1945 г. По вполне понятным причинам не все они могут быть отнесены к безусловным очевидцам событий того времени, а особенности детской памяти едва ли окажутся надежным ориентиром в лабиринте множасьих как снежный ком воспоминаний о войне. И все-таки именно детским воспоминаниям, прошедшим горнила цензуры и историографической оттепели, суждено стать тем оселком, что позволит прояснить особенности складывания памяти о Великой Отечественной войне, ее динамики и нынешнего состояния.

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №14–31–12036 «Дети и война: культура повседневности, механизмы адаптации, стратегии и практики выживания в условиях Великой Отечественной войны».

Обсуждение и результаты. Вокруг вопроса о том, что и с какого возраста может помнить ребенок, оказавшийся современником выдающихся исторических событий, сломано немало профессиональных копий. По утверждениям психологов, социальная память начинает формироваться уже с 4-х летнего возраста и включает в себя отрывочные наиболее эмоционально окрашенные эпизоды внешней по отношению к нему жизни. Более осмысленными, соотносимыми с историческим контекстом, детские воспоминания становятся в 9-ем возрасте, и «значительно преобразуются в памяти взрослого под воздействием социокультурных факторов, таких как авторитетный источник информации, высокая вероятность событий, необходимость верификации воспоминания в ином лингвистическом контексте. Причем эта пластичность – не дефект памяти, а особый механизм, позволяющий оптимально приравнивать воспоминания к требованиям текущего дня» [3, с. 184]. Вспоминается ряд случаев, когда по завершении встречи респонденты под воздействием хода беседы, проговариваемых эпизодов из чужих воспоминаний, профессиональной литературы о войны, перезванивали и «вспоминали» похожие случаи из своей жизни. Нередко в процессе и самого разговора, преодолев барьер настороженности и непонимания того, чем они могут помочь («Вам надо с теми, кто воевал, а я дитё была», «как жили, расскажу, но это разве война?»), вспоминали все новые подробности, подтверждая, тем самым, что «и такое на войне бывало». М.И. Емельянов, присутствуя при записи интервью с его женой, тяжело вспоминая о гибели ребенка «от рук немца», на вопрос о том, «все ли они были такими», рассказал другую историю: «Вот, а за нашим домиком, вот там, [на] 29-й [линии], там стояла кухня их, и немцев человек 15 было, и пушку поставили. Что они там делали, не знаю. Ну, короче этот немец, который повар был, он нам давал даже еду. Вот так, говорит, за дом спрячьтесь, как поедят все наши, останется. И вот, ждем. Вот он подкармливал, этот немец нас». Затем, немного смутившись обескураженной реакцией жены, вспомнил, как на его глазах немцы убили подростка: «Вот только один раз одного парня, он жил на 23-й [линии], кинотеатр “Спартак”, его при нас на 20-й линии, на углу 20-й немцы под машину прямо бросили под колесо и задавили. “Юда!”, – говорит на него, а он и правда еврей был. И вот, мы шли втроем, а они – раз, патрули шли, черные у них какие-то здесь, не знаю, обозначение какое-то висело на груди, кто они такие. Шли и сразу – раз, остановили нас и: «Юда!», – говорят, а мы кричим: «Нет, это не юда!». А они на нас: «Век!» Погнали нас, его взяли. Машина здоровая, они останавливают ее, положили – езжай. А немец-шофер говорит: «Зачем, дите?». Показывает: маленький там, говорит по-своему. А они положили автомат на него, на немца, раз – его и задавили. Мы как рванули» [4].

Историки, сталкивающиеся со сбором устных рассказов о войне людей, переживших ее в детском возрасте, отмечают их незначительное сюжетное разнообразие, замкнутость «на семье, соседях, улице», редко выходящих за пределы повседневного быта. Следует отметить, что самими респондентами интерес исследователя к этой негероической странице их жизни воспринимается с определенной долей скепсиса. Настроившись на серьезный разговор о войне, не предполагавший «каких-то сантиментов», они нередко искренне недоумевают, зачем так подробно их спрашивают о семье, жилье, друзьях. А.К. Агарков, встретивший войну в 8-летнем возрасте иохотно откликаясь на все задаваемые ему вопросы, углубившись в историю своей семьи, спросил, интересуется ли меня и моих коллег «все это». И, получив утвердительный ответ, не очень уверенно отреагировал: «Нет, а зачем это? Я понимаю, если бы вызывали такие-то органы, но я еще ничего не совершил. Мне как-то неловко...» [5]. Еще одна несостоявшаяся респондентка, в прошлом школьная учительница географии, потребовала предварительно передать ей список задаваемых вопросов. Получив его, она написала в ответ небольшую записку, в которой подчеркнула, что «из вопросов, очевидно, что Вас интересует жизнь и быт фронтовиков и людей, служивших в прифронтовой полосе, и в формированиях, связанных с военной, главным образом, фронтовой жизнью... Вы не обратили внимание на то, что я подчеркнула в начале свой возраст. Я была ребенком 9–14 лет в годы войны, то есть на Ваши вопросы, как конкретный участник событий, предполагаемых Вашими вопросами, ответить не могу. Я могу рассказать о жизни беженцев в тылу – школьников, их семей, их быте». Коммуникативная неудача оказалась следствием конфликта интерпретаций, когда внешнее видение проблемы не совпало с ее внутренним восприятием. Женщина искренне не понимала такого подхода к «очень важной в воспитательном отношении» теме войны, его «мелкости», заинтересованно предлагая свою помощь [6].

Вместе с тем, в детских воспоминаниях присутствует и отчетливо выраженное понимание исторической значимости наиболее важных, с точки зрения самих респондентов, событий военного времени, очевидцами которого они оказались: «[А как Вы узнали, что началась война?]. Вы слишком много хотите от меня. Вы же поймите, что, во-первых, мне же тогда было 8–9 лет. Во-вторых, я был далек от вот этих вопросов, что Вы сейчас задаете. У нас, у мальчишек была своя жизнь, немножко, скажем так, полная свобода, недосмотр, шлялись, где хотели, с утра до вечера, ну иногда за это получали там трепку, ну, такая была жизнь. Некогда было там нами заниматься. Это раз. Во-вторых, что я только могу сказать, вот моя мать была мобилизована, вот как раз пойдут более серьезные вещи, как тогда говорили, на рывть окопов» [7]. В этой связи нельзя не согласиться и с довольно часто встречающимся в современной исследовательской практике суждением о том, что именно война стала для военного поколения экзистенциально важной частью

жизни, задающей не только ее последующий масштаб, но и обеспечивающей сопричастность к большой истории: *«Вот, прошло 70 лет, а она, как говорится, незаживающая рана, боль. Поколение уже фактически вымерло, мне уже самому в этом году 80 лет исполнится, и моих ровесников поумирало уже очень много. Это, понимаете, наша героическая страница нашей истории. И я уже чувствую, что сопричастен этой истории, я уже как бы носитель какой-то этой истории. Раньше, 20–30 лет назад, Вы бы мною совершенно не заинтересовались, потому что были участники, герои, которые шли в атаку, ранения получали, гибли там, убивали немцев, защищали Родину. А о таких, как я, Господи, что о них писать? Ну, прятались там где-то по подвалам, выглядывали, что-то видели, что-то помнили. Ну, и кому это надо?»* [8]. Более того, она до сих пор связывается с «настоящей жизнью», когда, невзирая на трудности, «люди были людьми»: *«Вот так жили! Все, не взирая, армян, грузин или кто там, еврей – все вот так жили дружно, друг другу помогали всегда. Вот мать, нас четверо было, работала там, вот эту кашу принесет... На 14-ю [линию] отдавала, вот этой в 29-м [доме] многосемейная, одна девка сейчас осталась живая, а то все поумирали, им отдавали и нам отдавала: “Я вам еще принесу, а им никто не принесет”. Вот так обращение. Мать родная говорила нам: “Я вам дала, завтра еще принесу, а им кто принесет?”. А мы же знаете, дети: “Ага, им отдаешь, а нам чего кушать!”. Вот так. Раз так, значит так. Вот так люди: спекла там что-нибудь, каких там пышек или что-нибудь, делятся. У тебя ничего нет – на. Вот такие люди были, сейчас изменилось все»* и «в жизни был смысл»: *«Да чего сравнивать? Сейчас – что это жизнь? Вот так, откровенно говоря, сейчас жизни нет. Ни веселья, ничего»* [9].

При этом степень близости к значимому на сегодняшний день событию прошлого и, соответственно, характер воспоминаний о нем определяются четырьмя возможными позициями: участника, очевидца, современника и наследника [10, с. 200]. Каждая из них обладает как своими преимуществами, так и недостатками, определяя, тем самым, объем и достоверность детской памяти о войне. Так, ядро воспоминаний участника военных событий составляет личный опыт, позволяющий рассматривать себя носителем максимально достоверного знания о происшедшем, последствия которого ему не известны. Отсюда и настойчивое стремление на уровне взрослых воспоминаний «добрать» недостающие сведения, понять то, что выходит за пределы собственного опыта. Иногда это понимание приобретает художественную форму. Анатолий Константинович Агарков пишет стихи «из военного времени», очевидцем которого он оказался. В подаренной подборке «Стихов о войне», состоящей из 18 страниц формата А4, набранных на компьютере, украшенных специально подобранными фотографиями и скрепленных пластиковой папкой для файлов, стихи представлены двумя основными темами: «Кадрами из военного детства» и размышлениями над когда-то запомнившимися мыслями, «передуманными фразами». В своих стихах он не просто пытается прожить давно ушедшую и опаленную войною жизнь, а привести ее в соответствие со сложившимися собственными представлениями о том времени: *«Началось, я скажу так. Вот я любитель поэзии. Отчасти все, конечно, с натяжкой. Иногда бывает, надоедает, бросаешь. Любитель всяких песен, особенно вот таких, которые мне нравятся. Трудно сказать. “Черные ресницы, черные глаза” была во время войны – мне нравится. А когда “На позицию девушка провожала бойца” – мне абсолютно не нравится. Как-то мне кажется она слишком слащавая, не правдоподобная, понимаете? Там “Темной ночью простились...”. Вроде боец самостоятельно пошел на фронт, сам по себе. Не так же было. Вызывал военкомат, собирали в команды, и там прощаться не давали, да и некогда было»*.

Обнаружившиеся несоответствия им переписываются силой воображения, которое черпает вдохновение и правдоподобные сюжеты из памяти: *«Я начинал вот так вспоминать. Многие я помнил в молодости, и не мог вспомнить какие-то строчки, слова. И я тогда думаю: да подожди, а давай я сам сочиню. Вот так, например, была история с песней, она у меня, кстати, здесь. Она у меня идет под рубрикой “Народные песни”. Была такая песня “Коля – тракторист”. Я тогда служил в Новгороде Великом, в армии, офицером... И там ходили на концерты: знаете, какие-то местные, а, может, приезжали из Питера, из Москвы “варяги” с концертами... И вот там была [песня] “Коля – тракторист”. Я мотив запомнил и слова. Только я запомнил, что вот: “Только он под горочку спустился, немцы показались впереди”, а к чему это и чего? Потом “полоса несжатая стояла, Колю-тракториста все ждала”. И я потом задался целью и сам, или, может быть, у меня было вдохновение какое-то, как я говорил, “муза пришла в это время”, и я за день, за два эту песню сочинил в собственной редакции. Но я оставил там эти слова, которые я запомнил». Свои стихи он отчетливо делит на те, в которых отразилась реальная история (они проходят под рубрикой «Кадры из военного детства») и те, которые представляют собой его вымысел. Так, стихотворение с говорящим названием «Августин и Манька» получило следующую его оценку: *«Это художественный свист чисто. Это же уже не идет под рубрикой “Кадры из военного детства”. Ну, то просто, то, что некоторые женщины имели какие-то сношения с немцами, это не секрет. Но в массовом количестве этого, конечно, не было. А потом, что я могу об этом сказать на моем уровне? Хотя так, конечно, общаться приходилось, вот, то, что я описал про бомбежку, вот к нам нагрянули»* [11]. Тем самым, он превращает свои свидетельства о войне в живую память, в пространстве которой соседствуют не только реальные события военной поры, но и*

их современные коннотации, находящие свое отражение в форме художественного вымысла, помогающего примириться с тем, чего он не видел, но о чем приходится думать и говорить.

Очевидец, находящийся за пределами события, но совпадающий с ним географически, получает возможность беспристрастно оценить увиденное, но ему не хватает непосредственной сопричастности к творящейся на его глазах истории. Поэтому он очень часто на уровне воспоминаний перемещается на позиции участника, наделяя их событиями из «прожитой чужой жизни» [12]: «А гоняли ж и на окопы рыть, забирали. И окопы рыла. Где они там рыли, не знаю, вот так, хватило всего нам. Зато ликовали, когда день Победы был, повыскакивали голяком почти. Я помню себя, такая на бретельках рубашечка, вот, это мы так все ночью и повыскакивали, кричали, все люди повыскакивали. Это мы услышали, что кончилась война. Вот так в войну мы и жили. А еще, вот это самое главное забыла: решила мама нас в войну эвакуироваться в Старочеркасск, она сама рождения со Старочеркаска. И вот она решила, дядя нам баркас достал. На баркас погрузили все пожитки и поплыли [Когда это было?]. Ну, это не могу сказать» [13].

В наиболее выигрышной ситуации пребывает современник, который обладает знанием очевидца, совпадает с событием во времени, но расходится с ним в пространстве. Его задачей становится поиск образной составляющей, помогающей приблизиться к позиции участника: «Знаете, вот я где-то могу сказать и неправильно, потому что в том возрасте, когда еще были живые старики, меня это мало интересовало. Я вот так, как Вы, не спрашивал, а просто в разговоре что-то там улавливал. Взрослые между собою беседовали, особенно, знаете, на праздники, после этого дела там, вспоминали бабок, дедов. И вот эти отрывочные [сведения]» [14]. «Нет, нет на “Сельмаше” и в квартире на Книжной – мы там пережили [первую оккупацию]. Вот, немцы ушли, и мама – каким путем она получила эту квартиру, я не знаю. Вот, а она, значит, когда открылась мебельная фабрика на [улице] Донской – это недалеко от [улицы] Подбельского, между Подбельского и Семашко, и вот она, может, оттуда, может, как, я не знаю, каким путем, короче, мы поселились в этом 51 номере. Нет, это после войны, а тетя Маруся – мы жили в 56 у нее, пока она не вернулась из эвакуации, после вторых немцев, а потом мы уже переселились с этой квартиры, там полуподвальное помещение было, где мы жили в 51, на Донскую, тоже здесь, только напротив. У меня даже есть фотография возле нашего дома. Война закончилась, мы уже жили в 44 номере, и отсюда я замуж вышла» [15].

Нередко под воздействием знания позднего времени меняются и акценты в восприятии наиболее памятных в историческом масштабе войны событий. Одним из них является оккупация, ставшая символом бесчеловечности и проявления крайней жестокости немецко-фашистских захватчиков. Инна Николаевна Калабухова, пережившая оккупацию Ростова-на-Дону в области с бабушкой и матерью, насильственно мобилизованной немцами на противоэпидемические работы, запомнила ее искалеченной послевоенной судьбой матери: «Осталась на оккупированной территории [при попытке эвакуации попала под бомбежку], не стала искать партизан, не занималась диверсионной работой и, более того, она была мобилизована, всех так сказать. Ну, немцы есть немцы. Они тоже в считанные недели собирались, зная, что у нас тут эпидемиологически небезопасный район, тут когда-то в тридцатые годы была серьезная эпидемия чумы, на которой моя мама, кстати, работала, и они решили воссоздать всю противочумную систему. И они разыскали там, по спискам, через биржу труда, тем или другим способом всех людей, имевших отношение к противочумной деятельности. И вызвали их всех, и всех мобилизовали. Но вывезли с семьями с мебелью, в общем, пробыли мы в этой деревне вместе с немцами месяц или полтора, ну, неважно. В общем, в результате ее исключили из партии, что для нее было очень большой трагедией и вообще потом, вся ее жизнь с пребыванием на оккупированной территории, в общем-то, не по ее вине, пошла ломаться вот так вот. Это просто один близкий мне, знакомый пример, а в действительности это все было ужасно». Не менее трагичной оказалась и судьба ее на тот период времени 10-летнего троюродного брата, пережившего оккупацию на Украине. Именно этот факт биографии, связанный с пребыванием на оккупированной территории, по ее глубокому убеждению, не позволил ему осуществить заветную мечту всей жизни – поступить в Одесское мореходное училище: «Вы знаете, что в паспорте графы такой не было и записи такой не было. Пребывание на оккупированной территории для бывших детей, ставших взрослыми, все равно обозначалось определенной цифрой в номере паспорта или в серии. Вот это точно абсолютно, это кто-то мне говорил, из причастных к этим органам. Вот это имейте в виду. Так что эти люди были заклеены на всю свою жизнь, причем дети. Вот парню было, и не приняли его, у него может вся жизнь наперекосяк» [16].

Наиболее отчетливо и ярко воздействие позднего знания на характер воспоминаний о войне выразил А.К. Агарков: «Я уже тут [путаю], но помню, что вот так началась война. И мое лично было очень легкомысленное отношение. Говорю: “Мама, война, а что Вы в таком горе? Ну, была уже война с Финляндией. Ну, дядя Андрей там ехал-ехал, не доехал”. Я думал, что и эта такая будет. Потому что я еще не представлял, что такое экономический, военный потенциал той же Финляндии, Германии. Все казалось это так примерно одинаково. “Да, ты понимаешь, – мать говорит, – что такое война? Хлеба не будет!”. А я: “Ну, что, хлеба не будет! Будем печенье кушать, пирожные, булочки”. Т.е. я понимал очень буквально: не будет хлеба – т.е. не будет вот

этого хлеба, 90 копеек которого стоила буханка, а все остальное будет, якобы. Вот так вот начиналась война» [17]. Беседа с ним оказалась весьма показательной в отношении мобилизационных возможностей детской памяти. Окончательно убедившись, что нашу группу будут интересовать не боевые подвиги и зарисовки из жизни замечательных людей того времени, он, сосредоточившись на повседневной стороне войны, превратился в прекрасного рассказчика, заново прожившего свое опаленное войной и, вместе с тем, счастливое детство. Создавалось впечатление, что война стала для него своеобразным символическим капиталом, позволившим не только преодолеть все последующие трудности, но и не потерять хорошего душевного тонуса человека, не зря прожившего свою жизнь.

Многие события того времени стерлись из памяти, но осталось отчетливое осознание «страха войны». Анатолий Константинович Агарков, которому не давилось увидеть массовых расстрелов и избежать физического насилия со стороны оккупантов, запомнил потрясшую его своей будничностью «уборку» трупов: *«А потом, значит, я не ходил, но говорили, что немцы много расстреляли на 40-й линии, потом много расстреляли на [улице] Верхненольной. Вот эти кадры...Эти кадры обошли потом весь мир, и даже на Нюрнбергском процессе этих главных военных преступников показывали эти кадры ростовские. Почему? Просто сразу 29 ноября оказался кинооператор. Ведь тоже кинооператоры не ходили за каждым во время войны. Может, на армию полагалось один – два кинооператора. Помню, дня через два подъехала грузовая машина к этим убитым около нашего дома, все это я видел. Трое или четверо молодых парней с шутками, прибаутками стали брать эти трупы, вот так, значит, кинет в кузов. Он ба-бах! Меня прямо ужас от этого звука брал. Смотришь: это вроде человек, вроде как на нем все должно быть мягкое, человеческое тело, там кожа, мясо. Кидают, а он ба-бах, знаете, такой звук. Вот так они всех покидали, потом сели в эту же машину, вот так впереди, около кабины сидения. Один достает кусок хлеба из кармана из кармана, разломил, стал всем раздавать, сидят, жуют» [18]. Ростовчанка Лидия Владимировна Ямщикова, всю первую оккупацию города проведшая в бомбоубежище, где «нас, еврейских детей, прятали от немцев русские женщины», очень страшилась немцев: *«Не знаю. Я когда увидела эту каску, вот эти лица какие-то – ну, не наши, ну, не русские, ну, не еврейские, ну, не такие». Хотя ощущение страха у нее ассоциативно больше связывалось с подвалом, ограничивавшим свободу передвижений: «У нас весь наш подъезд в бомбоубежище, у нас был детский сад, там глубокий был подвал, в детском саду, там, в подвале, вот, мы и сидели. Почему? Потому что бомбежки, обстрелы со всех сторон. Их же выбили за 9 дней, они всего были 9 дней у нас в Ростове». «Да, вот тогда [после расстрела соседей] нас уже женщины на улицу не выпускали, во дворе мотались мы, но это под наглядом, что нет вокруг ни одного немца. А так они – это ж они долго у нас стояли. Притом, у нас в школе стояла дивизия. А здесь вот, от нашего дома, через дом, стоял офицер с женой, с немкой» [19].**

В жизнь Анастасии Леонтьевны Крюковой «страх войны» вошел с расстрелянным в 1941 г. на глазах семьи отцом. Будучи председателем колхоза и не успев эвакуироваться «со скотом за Дон», он был выдан местным жителем: *«Его забрали с дому, посадили в амбар, замкнули. Пошли мы вечером поздно, полицей был наш, сетраковский. Стала мама просить чтобы, ну, наш: “Отомкни”. А он: “Нет, не имею права, вы хотите, что бы я под пулю попал”. Мы постучали, он отозвался, сказал: “Не знаю, что будет со мной, но, пожалуйста, принесите теплые брюки мне, может меня сечь будут”. Принесли, а потом, на утро мы пошли, он сказал: “Меня утром должны в штаб вести”. Но где штаб мы знали и встретились. Его вели, один полицей был на коне, а один пеший шел, также, как, и он шел, пеши. Подвели его к штабу, не знаю, что уж там было, никто нам не сказал, что у него спрашивали. Его вывели и повели, он нам махнул головой и все. А полицей нам: “Уходите, не ходите следом”. Они пошли, а мы следом. Так мы стороной шли и из виду их не выпускали. Они его в балку, по балке шли, а мы по горке. Потом завели его, а там у нас песок брали и сейчас берут. И его завели, а еще немец прибавился, то их двое было, а это третий немец. Завели его, и наш человек, полицей выстрелил, с ним зашел, а эти на пригорке стояли, выстрелил и все». Горечь потери, несколько притупившаяся фактом развода родителей, так и осталась страшным напоминанием войны, хотя «все оно было тяжело: и с продуктами, и с работой, и совсем, но все пережили» [20].*

Менее информативным, но показательным в отношении понимания механизмов формирования памяти о войне, оказывается наследник, отсутствие личного опыта участника, наблюдения очевидца и знания современника у которого переводят его в разряд потребителя готового знания. Однако, несмотря на всю их профессиональную значимость, я не вижу необходимости обращения к его полностью сконструированной памяти о войне в исследовании рассматриваемой здесь проблемы.

Выводы. Формирование образов войны детской памятью и их последующая актуализация во взрослом возрасте связаны не только с эмоциональным потрясением пережитых тягот и потерь военного времени. В этом сложном процессе переплетения реальности и последующего знания, недостаток которого зачастую компенсируется присвоением чужой памяти, решающее значение приобретают отношения, связывающие субъект с историческим событием (участник, очевидец, современник, наследник). В том случае, когда этим событием оказывается Великая Отечественная

война, длительное время оставшаяся сакральным символом нашей истории, включаются механизмы, обеспечивающие человеку на уровне воспоминаний, ту или иную степень сопричастности к ней. В то же время сама степень этой потребности обуславливается конкретным личным опытом переживания событий военного времени; характером их травмирующего воздействия на последующую жизнь «детей войны»; общественной и профессиональной востребованностью детских воспоминаний людей взрослого возраста. Все они находят отражение в выстраиваемых повествованиях, где, говоря словами З. Баумана, «жизни прожитые и жизни рассказанные тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Можно сказать, что, как это ни парадоксально, истории, рассказанные о жизни, вмещиваются в прожитую жизнь еще до того, как она проживается и о ней становится возможным рассказать...» [21, с. 8]

Примечания:

1. Нуркова В.В. Война и мир: военное измерение в воспоминаниях о детстве // Вторая мировая война в детских «рамках памяти»: Сб. научных статей. Краснодар: Традиция, 2010. С. 177-209.
2. Носенко-Штейн Е.Э. О коллективной памяти российских евреев на рубеже веков (предварительные наблюдения) // Отечественная этнография. 2009. № 6. С. 20–29.
3. Нуркова В.В. Указ. соч.
4. Респондент: Емельянов Михаил Иванович, 1929 г.р. Интервьюеры: Т.Г. Курбат, Т.П. Хлынина. Место проведения: г. Ростов-на-Дону, квартира респондента. Продолжительность 43 минуты. Запись 14 мая 2013 г. // Архив лаборатории истории и этнографии ИСЭГИ ЮНЦ РАН.
5. Респондент: Агарков Анатолий Константинович, 1933 г.р. Интервьюеры: Е.Ф. Кринко, Т.П. Хлынина. Место проведения: ИСЭГИ ЮНЦ РАН. Продолжительность 127 минут. Запись 14 апреля 2013 г. // Архив лаборатории истории и этнографии ИСЭГИ ЮНЦ РАН.
6. Архив лаборатории истории и этнографии ИСЭГИ ЮНЦ РАН.
7. Респондент: Агарков Анатолий Константинович, 1933 г.р.
8. Там же.
9. Респондент: Емельянов Михаил Иванович, 1929 г.р.
10. Нуркова В.В. Указ. соч.
11. Респондент: Агарков Анатолий Константинович, 1933 г.р.
12. Бауман З. Рассказанные жизни и прожитые истории // Социс. 2004. № 1. С. 5–14.
13. Респондент: Ямщикова Лидия Владимировна, 1932 г.р. Интервьюеры: Т.Г. Курбат, Т.П. Хлынина. Место проведения: г. Ростов-на-Дону, квартира респондента. Продолжительность: 67 минут. Запись 14 мая 2013 г. // Архив лаборатории истории и этнографии ИСЭГИ ЮНЦ РАН.
14. Респондент: Агарков Анатолий Константинович, 1933 г.р.
15. Респондент: Ямщикова Лидия Владимировна, 1932 г.р.
16. Респондент: Калабухова Инна Николаевна, 1933 г.р. Интервьюер: Е.Ф. Кринко. Место проведения: г. Ростов-на-Дону, квартира респондента. Продолжительность 95 минут. Запись 19 октября 2012 г. // Архив лаборатории истории и этнографии ИСЭГИ ЮНЦ РАН.
17. Респондент: Агарков Анатолий Константинович, 1933 г.р.
18. Там же.
19. Респондент: Ямщикова Лидия Владимировна, 1932 г.р.
20. Респондент: Респондент: Крюкова Анастасия Леонтьевна, 1928 г.р. Интервьюер: Т.Г. Курбат. Место проведения: г. Ростов-на-Дону, квартира И.В. Пащенко (внучка респондента, беседа осуществляется по Skype). Продолжительность 73 минуты. Запись 15 октября 2012 г. // Архив лаборатории истории и этнографии ИСЭГИ ЮНЦ РАН.
21. Бауман З. Указ. соч.

References:

1. Nurkova V.V. Voina i mir: voennoe izmerenie v vospominaniyakh o detstve // Vtoraya mirovaya voina v detskikh «ramkakh pamyati»: Sb. nauchnykh statei. Krasnodar: Traditsiya, 2010. S.177-209.
2. Nosenko-Shtein E.E. O kollektivnoi pamyati rossiiskikh evreev na rubezhe vekov (predvaritel'nye nablyudeniya) // Otechestvennaya etnografiya. 2009. № 6. S.20–29.
3. Nurkova V.V. Ukaz. soch.
4. Respondent: Emel'yanov Mikhail Ivanovich, 1929 g.r. Interv'yuary: T.G. Kurbat, T.P. Khlynina. Mesto provedeniya: g. Rostov-na-Donu, kvartira respondententa. Prodolzhitel'nost' 43 minuty. Zapis' 14 maya 2013 g. // Arkhiv laboratorii istorii i etnografii ISEGI YuNTs RAN.
5. Respondent: Agarkov Anatolii Konstantinovich, 1933 g.r. Interv'yuary: E.F. Krinko, T.P. Khlynina. Mesto provedeniya: ISEGI YuNTs RAN. Prodolzhitel'nost' 127 minut. Zapis' 14 aprelya 2013 g. // Arkhiv laboratorii istorii i etnografii ISEGI YuNTs RAN.
6. Arkhiv laboratorii istorii i etnografii ISEGI YuNTs RAN.
7. Respondent: Agarkov Anatolii Konstantinovich, 1933 g.r.
8. Tam zhe.
9. Respondent: Emel'yanov Mikhail Ivanovich, 1929 g.r.
10. Nurkova V.V. Ukaz. soch.
11. Respondent: Agarkov Anatolii Konstantinovich, 1933 g.r.
12. Bauman Z. Rasskazannye zhizni i prozhitye istorii // Sotsis. 2004. № 1. S. 5–14.
13. Respondent: Yamshchikova Lidiya Vladimirovna, 1932 g.r. Interv'yuary: T.G. Kurbat, T.P. Khlynina. Mesto provedeniya: g. Rostov-na-Donu, kvartira respondententa. Prodolzhitel'nost': 67 minut. Zapis' 14 maya 2013 g. // Arkhiv laboratorii istorii i etnografii ISEGI YuNTs RAN.

14. Respondent: Agarkov Anatolii Konstantinovich, 1933 g.r.
15. Respondent: Yamshchikova Lidiya Vladimirovna, 1932 g.r.
16. Respondent: Kalabukhova Inna Nikolaevna, 1933 g.r. Interv'yuer: E.F. Krinko. Mesto provedeniya: g. Rostov-na-Donu, kvartira respondententa. Prodolzhitel'nost' 95 minut. Zapis' 19 oktyabrya 2012 g. // Arkhiv laboratorii istorii i etnografii ISEGI YuNTs RAN.
17. Respondent: Agarkov Anatolii Konstantinovich, 1933 g.r.
18. Tam zhe.
19. Respondent: Yamshchikova Lidiya Vladimirovna, 1932 g.r.
20. Respondent: Respondent: Kryukova Anastasiya Leont'evna, 1928 g.r. Interv'yuer: T.G. Kurbat. Mesto provedeniya: g. Rostov-na-Donu, kvartira I.V. Pashchenko (vnuchka respondententa, beseda osushchestvlyayetsya po Skype). Prodolzhitel'nost' 73 minuty. Zapis' 15 oktyabrya 2012 g. // Arkhiv laboratorii istorii i etnografii ISEGI YuNTs RAN.
21. Bauman Z. Ukaz. soch.

УДК 93/94

Рассказы о войне: детские воспоминания людей взрослого возраста

Татьяна Павловна Хлынина

Институт социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН,
Российская Федерация
344006, Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41
Доктор исторических наук
E-mail: tatiana_xl@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена детским воспоминаниям о войне, записанным в 2000-е гг. В ней рассматриваются особенности детской памяти, механизмы актуализации воспоминаний о различных событиях военного времени. Отмечается, что память о войне все еще остается одним из немногих источников национальной гордости современного российского общества. В то же время реабилитация множества частных памятей приводит к размыванию ее официальной версии и настойчиво требует их примирения. При этом сама память больше не видится исследователем «пассивным хранилищем запечатленной информации», а связывается с пластичным конструированием образов прошлого. Несмотря на ряд особенностей детских воспоминаний, именно им надлежит стать тем оселком, что позволит прояснить особенности складывания памяти о Великой Отечественной войне, ее динамику и нынешнее состояние.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; «дети войны»; память; детские воспоминания; респонденты; участник; очевидец; современник; наследник; Победа.